

Несогласный. Максим Горький gorkiymaxim.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

Несогласный. Максим Горький

В пустоте над тюремным двором остановилось мутное солнце; ночью в городе был большой пожар, небо немножко закоптело, солнце – тоже.

Жарко; кирпичная стена тюрьмы кажется раскалённой докрасна: серый бульжник источает липкую духоту, в воздухе висят синие мухи, толчками рвутся куда-то, падают к нагретой земле, взмывают вверх, – следить за ними нестерпимо скучно, а больше делать нечего. Тихо на дворе; кое-где в коротких полосках тени прижались у стены растерзанные арестанты, дремлют, спят, лениво беседуют. За стеной сухо трещит деревянный город, иссыхая под жестоким солнцем. В квартире смотрителя звучит пианино, – Миша Зимин, чахоточный вор, выгнув длинную шею, поднял в небо серое с красными малежами лицо и, надув губы, смотрит в окно, слушает музыку.

– Я человек меланхоличный, – вполголоса говорит мне надзиратель Курнашов, сидя со мной на ступенях крыльца тюрьмы. – Есть люди взрывчатого характера, а я – смирноумный, короткого поведения...

– Кроткого, – поправляю я.

– Всё едино, – кроткое и есть короткое поведение, без затяжки, без спора.

И, раздавив окурок папиросы о подошву сапога, он продолжает, точно чулок вяжет:

– Мне всё равно, хоть так, хоть этак, меня не обморочишь. Ваши, утверждающие, будто человек нуждается в свободе поведения, премного ошибаются. Этого нельзя. Вон они, свободники, у стенок притулились, а некоторые даже и в кандалах. Никак нельзя. Свинья свободна, ну, что ж? Ей никакого уважения нет. И человек в свободном ходе своих чувств тоже освиняется.

Сняв тяжёлую фуражку, он приглаживает красной ладонью волосы цвета земли и потом внимательно смотрит на свои пальцы.

Мне давно и упрямо хочется знать, как прожил свою жизнь этот суздальский человечек, сухонький, спокойный, похожий на икону угодника божия? У него зоркие, приметливые глаза желтоватого цвета. Они смотрят на всё и всех прямым, взвешивающим взглядом. Он часто говорит:

– Я – человек смирный, меланхоличный.

Но он говорит эти слова подозрительно часто. Товарищи явно не любят его и боятся. Арестанты – тоже не любят, но не боятся, хотя исполняют его краткие приказания как будто послушней и охотней, чем крикливую команду других надзирателей.

Он стоит как будто ближе к арестантам, чем к начальству, но в то же время как бы опасается близости к людям или пренебрегает ими, считая себя выше всех. Ему – пятьдесят девять лет, он крепкий, ловкий и лёгок на ногу, ходит по двору и коридорам быстро, бесшумно, как по воздуху. Чистенький, аккуратный, желтоватая бородка правильно подстрижена, но рот у него противен, – кривой, с толстыми губами, он кажется чужим на постном, благообразном лице.

Основной лад его души – спокойное безразличие, однако я несколько раз видел Курнашова в странном состоянии внутреннего напряжения, возбудившего у меня острый интерес к этому человеку.

Как-то ночью, заглянув в глазок моей двери, я увидел, что он стоит в коридоре против камеры малолетних, под огнём тусклой лампы, его лицо жутко, невероятно искажено, – как будто человека внезапно схватила острая боль, он хочет дико закричать и – не может.

Это искажённое, кричащее и немое лицо было до того ужасно, что я, отшатнувшись, закрыл глаза. Но через минуту, вновь заглянув в глазок, увидел его всё в том же оцепенении, с тем же немым криком в глазах и в судороге полуоткрытого рта.

Я позвал его:

- Павел Степанович!

Пошатнувшись, он спросил:

- Кто это?

- Я, шестая камера.

- А... Не спите?

- Нет. Что с вами?

- А все спят. Господи помилуй...

- Что это с вами?

- Так, задумался...

Он ушёл.

Не один раз я просил его:

- Расскажите, как вы жили!

Глядя на меня снизу вверх, он спрашивал:

- К чему это?

- Я - молодой, мне учиться надо.

- Я жил меланхолично, - говорил он, - вроде отшельника, остерегаясь суеты
напрочь...

Философствовал он охотно, но о событиях своей жизни не говорил, как будто их не
было. А однажды прямо сказал мне:

- Рассказы - не научат, научает рассуждение. Рассказать можно всё, что хочется,
и будет - ложь, а рассуждение - тут не всякий соврать может. Голое слово
обязует, как цифры, а цифра - не соврёт, как её ни поворачивай.

Ко мне он относился покровительственно и с любопытством, которого не мог скрыть,
хотя и сдерживал его.

Как-то ночью, разговаривая со мной через глазок камеры, он спросил:

- Слышал я, что писанием зарабатываете большие деньги и живёте без нужды, -
верно?

- Да.

- Мм... Пьёте?

- Нет.

- Картёжничаете?

- Тоже нет. А - что?

- Тогда - не понимаю: зачем же бунтовать? Ежели бедный бунтует, - это доступно
уму, а - если образованный и сытый человек, тогда уж это баловство.

Я пытался объяснить ему, но, послушав немного и неохотно, он ушёл от двери,
сказав:

- Каждый сам себе воевода и хозяин...

Несогласный. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

В этот жаркий, скучный день я решил добиться толка от Курнашова и добился; осторожно, точно идя в темноте и оглядываясь во все стороны, загромождая свою речь ненужными размышлениями, он начал рассказывать:

- Мещанское сословие, не имеющее в земле никакого корня, - самое худородное и ни к чему, - меланхолическая часть людей. Отец мой, например, старьём торговал на балчуге, (от татарского - "болото", "грязь". Ещё со времён Ивана Грозного на в таком месте обычно строили кабаки; вокруг них развивалась мелкая торговля, рынок - Ред.) а я с восьми лет птицеводством занимался, а "рыбаки да птицеловы только врать здоровы". По десятому году отдали меня в учение к скорняку. Учение, конечно, пустое слово, научиться от людей ничему нельзя, кроме пьянства, распутства и как по морде бить. К пьянству я, по счастью слабости здоровья, не привык. Баб, до самой женитьбы, до двадцати шести годов, - тоже не касался. Был случай - лет семнадцать было мне, - но в этом случае я не причинен; просто сказать - насильничала надо мной хозяйнова сноха, баба пьяная и бесстыдница. Пришла ночью, - мне, конечно, по глупости лет, любопытно, однако с того разу возымел я к этому занятию отвращение и даже страх.

Курнашов сморщился, плюнул, потом, вынув папироску, закурил и продолжал, выпуская слова вместе с дымом.

- Отец, проторговавшись, свихнулся со стези, попал в историю с ворами и, поскорости, отдал душу богу, сидя в тюрьме. Всё равно - и живой пропал бы, потому - кража со взломом. За отца надо мной смеяться стали, дескать воров сын. Терплю, конечно. Куда убежишь от людей? Никуда не убежишь. А, ну вас, думаю!

Зимин, наслушавшись музыки, сел под окном и славно поёт мягким мурлыкающим голоском:

На сосне сидит,
На густой сосне,
Пёстрая пташечка
Вор-кукушечка...

К нему идёт толстый, рыжий подагрик Иванков, открыв сомовый рот, идёт и гудит:

А под той сосной
Добры молодцы,
Удалы, честны
Вор-разбойники.

И оба вместе они смело поют:

Ой, да ку-ку, ку-ку,
Бездомовница...

- Цыц! - строго кричит Курнашов, пристукнув концом шашки о ступень. Что здесь, трактир вам?

Погасив песню, он говорит мне с досадой и лёгким удивлением:

- Привыкли, сукины сыны, совсем как дома! Им - наказание, а они поют. До чего люди беззаботны сами о себе - ни страха, ни ужаса!

В тюрьме, построенной ещё при царице Елизавете, тихо, как под землёй. День - будний, большинство арестантов угнали на работу, осталось десятка полтора, все одинаковые, каждый чем-нибудь болен, и все удивительно тихие люди. Они напоминают поросят, потерявших матку, отчаявшихся найти её и заранее покорных всему, что случится с ними.

У зрителя играют "Молитву Девы". Иванков и Зимин, подняв рожи вверх, слушают

и смеются.

- Рассказывайте, - прошу я надзирателя.

- Никогда я не рассказывал, нескладно выходит у меня, - говорит он. Главное - согласия с людьми не было у меня ни в чём. Забавы ихние не отвечали мне, а больше взять нечего. Читающие евангилье и разные книги священного писания - становятся еретиками, секты составляют, что тоже не годится для меня. А со всех других сторон обида, для каждого нет ничего приятнее, как обидеть человека. Бывал я на прениях о вере, в семинарию хаживал, там тоже ругаются. Один говорит о писании, а другой - встречу ему говорит: "дурак!" И так везде - самое неосторожное обращение друг с другом. Конечно, пустяки, но ежели везде, - тогда уж и вся жизнь - чепуха... А меня обижали особенно много, потому что я был терпелив. Терпение требуется от каждого, но которые нетерпеливы, тех оно доводит даже до безумства.

Курнашов не рассказывает, а рассуждает, я слушаю его невнимательно; заметив это, он спросил:

- Что, скучно? То-то вот...

Тщательно высморкался в траурный платок, белый с чёрной каймой, вздохнул:

- Правда - скучновата, - ничего не сделаешь против неё. Был случай привязался ко мне один человек, Сысоев-покойник, Константин Васильич, лицо распутной жизни, но домовладелец и богач, - в полном уважении человек. Он меня из кости в кость, я - молчу, думаю - устанет и отвяжется. Он меня в ухо - молчу. Он - за волосы, стараюсь в глаза ему глядеть, - когда собака, например, бросится на вас - глядите в глаза ей, - отстанет. Но тут этого не случилось, а вижу я, распаляется человек до того, что даже и убить может, стащил меня со стула и возит по полу, ничего не щадя. Схватили его, меня отняли, омылся я, иду домой, вдруг опять он. "Ты, говорит, переломить меня хочешь?" А с ним ещё кто-то. Схватили за руки, за ноги, несут под гору, на реку, тут догадался я, что хотят они меня в прорубь сунуть. Ну, конечно, завыл, взмолился. "Ага, - говорит, - сдаёшься!" Отпустил меня и даже трёшницу дал. "Получи на пластырь, спорить же со мной не смей никогда!" А весь мой спор только в том и заключался, что желал претерпеть его зверство.

Курнашов вздохнул и пояснил:

- Терпение - оно тоже, знаете, довольно опасно, иногда в нём такая гордость скрыта, что сил нет снести её. У нас, года три назад, мальчишка сидел за убийство вотчима, так это было лицо хуже дьявола. С виду - кроткий, красна девица, вежливый со всеми, а - сделать с ним ничего невозможно.

- Не сознавался? - спросил я.

- Зачем? В убийстве он сразу сознался, ещё дома. А в гордости своей действительно не сознавался. И били его и в карцер сажали - всё! Молчит, ни просьбы, ни жалобы, никакого страха. Еле на ногах держится, а смотрит мимо всех. Даже я, спокойный человек, и то не мог терпеть его. "Ты что, говорю, - во святые метишь? Я для тебя - нипочём?" А он - ручки назад и тоже в глаза мне смотрит. Дашь ему, бывало, раз, другой, а сам знаешь - это без толку. Так и не согнулся до самого суда, а после - умер незаметно... Человек любит поспорить.

Курнашов улыбнулся, нерешительно поджал губы, приподнял мускулы щёк, жёлтые глаза его, не изменяя блеска и выражения, окружились полувенцом морщинок. Первый раз видел я улыбку на его дублёном лице, и было в ней что-то неумелое, трудное.

- От скорняка перешёл я к часовщику, был такой часовщик Цехановский, Ладислав, кривой. Три года прожил у него, гляжу - а он монету чеканит золотую. Конечно, это мне не мешает: "Делай, что хочешь, меня не трожь". Однако он и меня начал тискать в это дело. Ну, тогда я заявил в полицию, накрыли кривого. Делают обыск у него, а он гонор показывает: швырнул пятирублёвик на стол, кричит: "Чем наши хуже ваших? И звенят, и блестят, и по рукам ходят!" Весёлый был старик и довольно деликатный со мной. Ну, засудили его. А ещё до суда сыскарой полиции начальник взял меня к себе на службу. "Всё равно, - говорит, - тебе". Положим - не всё равно: в этой должности очень нелегко себя сохранить. Вор - не глуп, на

Несогласный. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

то он и вор, а себя – всякому человеку жалко. Приходилось и вора уважение оказывать. Да и вообще... глядишь, как люди друг на друга лезут, подобно слепым щенкам, и думаешь: "А, ну вас, делайте, что хотите, только я с вами в душе моей не согласен"... После того взяли меня в солдаты, около года в пехоте служил да два при госпитале писарьком...

Курнашов внезапно оживился, торопливо закурил папиросу и, дёргая левым плечом, точно стараясь стряхнуть с него что-то, спросил прищурившись и тихонько:

– Вы смерти боитесь?

– Нет.

– Я тоже до госпиталя не думал про неё – ни про неё, ни про бога. В церковь, конечно, ходил, а бога не чувствовал, без страха жил. Знаю – есть бог, а – не боюсь. В душе-то у меня не было его. Ну, а тут, в госпитале, смерть у каждого на часах стоит; сегодня – одного долой, завтра – другого, а то и двух, трёх сразу. Бьёт людей, как дамка простые шашки.

Он закачался, крепко потирая ладонями острые колени, и опять трудно улыбнулся.

– Был там фершал, Личков, крещёный еврей, умница и деловик, вдовый, а у него – племянница жила, русская, дочь жениной сестры...

Он надолго замолчал, разглядывая свои сапоги.

– Ну – влюбились вы, – подсказал я.

– Это – глупости, влюбляться, – искоса взглянув на меня, сказал он почти строго, – это баловство со скуки. Я – простой человек, разумный, не барин, не шалыган какой-нибудь. Вовсе я не влюблялся, а тут выходило так: вот – человек, хотя, скажем, и солдат, – вот – нет человека. Сегодня одного снесут, завтра – другого, барабан трещит, – ух, не любил я этого барабанного бою! Как будто по моей спине палками щекотят. Стало это беспокоить меня. "Позвольте, думаю, в чём же суть?" И даже по ночам не сплю, – боязно, мерещится, что скоро все перемрут и я тоже. Привык я к этим мыслям до безобразия; бывало, узнаю, что какой-нибудь солдат отходит, иду глядеть. Личков – смеётся: "Что, говорит, учишься? Учись, говорит, этот экзамен и тебе неизбежно сдавать". Он привык, тыщи на тот свет отправил, а мне жутко. Не знаю даже, что и делать, – душу тянет из меня.

– Тут я сошёлся с девицей этой, с племянницей его, – вздохнув, продолжал надзиратель, нелепо вытянул правую руку и указал пальцем в землю. – Так, знаете, слово за слово – то да сё, а потом говорю: "Давай станем жить потихоньку, кончу службу – женюсь". Она сначала не соглашалась, потом согласилась. Первое время, когда всё в новинку, мне даже веселее стало, мысли отступились, и страх прошёл. Интерес явился, как будто в прятки играешь, и Личкова боязно, и чтобы другие не заметили. Она – шитьём занималась.

– Красивая?

– Ничего. Беленькая. Худощавая, а правильная, и груди и всё, хотя бабья краса у всех одинакова, так я понимаю. Одна – постарше, другая – помоложе, а лучше всех – которую положишь, – говорится. Ну, вот... Заберусь я, бывало, в конурку к ней, когда Личков на дежурстве, побалуемся, устанем, – поговорим. Иной раз заснёт она, я гляжу и думаю: "Вот и ей помереть, может, и не проснётся – помрёт!" Послушаю, бьётся ли сердце, разбужу и говорю шутя: "Ты, Танька, смерти боишься?" Не любила она этого. "Ну её", – говорит. "Нет, погоди, говорю, вот – жива ты, а завтра – ударит тебя неизвестная болезнь, и – как!" Она сердится. А я того пуще донимаю её, – не люблю я бабьего разума, птичий разум. Приятно возмущать ихние мысли. До того доводил, что она даже унывала и плакала; жалуется: "Что это, говорит, ты – какой, словно сторож с кладбища, никакого разговора не знаешь, кроме про покойников". А то – рассердится, шепчет: "Пусти меня, я уйду!" Ну, уйти – некуда, ночь...

– Кончивши службу, я поступил в полицию – паспортистом, устроил меня Личков, он у полицеймейстера любимец был – банки ставил ему каждую субботу. С Татьяной я повенчался, как и обещал, Личков три сотни дал за ней. Сняли светленький чердачок, живём – ничего, дружно, детей родить я ей воспретил до поры до

времени. Хозяйствует она аккуратно, умненько, но – вижу, задумываться стала не к месту. Шьёт, шьёт, да вдруг на колени шитьё опустит и оцепенела. "О чём?" – спрашиваю. "Так", – говорит. И ночью тоже, замрёт, уставит глаза в потолок и лежит, не дышит. Я к ней – со своим, а она "подожди", – говорит. – Ну, это мне скушно. "Ах ты, птица", – думаю. И шучу, играю: "Что, – говорю, – боишься?" Молчит.

Нахмутив брови, Курнашов заговорил строго и внушительно:

– "Ежели ты мне жена, то по закону не имеешь права скрываться от меня, а обязана говорить мне всё, начистоту!" – "Да я, говорит, не знаю, что со мной, а только – тоска приступает. Мне бы дитя надо!" Я говорю: "С тобой муж, а больше ничего не полагается; насчёт ребёнка – подожди!" Ребёнок – это пятнадцать лет лишнего расхода, раньше от ребёнка ничего не получишь. "А ты мне скажи – о чём думаешь, ты не вилай!" Не говорит.

– Конечно, это больше в шутку я. Забавно было, как она боится меня. Сам-то я уж не очень вдавался в эти мысли, ну – умрёшь, так умрёшь! И святые смерти не обходят. К тому же мысли эти я в неё переместил. Однако как сам я вынес страх, то, конечно, хочется, чтобы и другой боялся. Вскоре она ошиблась, – а может, и нарочно – забеременела. "Ну, что ж, – думаю, – любишь кататься, люби и саночки возить". Подтруниваю над ней: "Гляди, – говорю, умрёт ребёнок-то в тебе, и будешь ты ходить сама живая, а в животе покойник!" Ребёнка она скинула на шестом месяце.

– Любил я бить её, грешен. Бывало, изобью, истерзаю, лежит она на полу али на кровати, платьишко изодрано, в дырках, просвечивает тело её живенькое...

Курнашов заговорил тише, как бы воркуя:

– Ножки голенькие видно, ласковые – даже вспомнить сладко. Женщину бить – это, сударь мой, большущее удовольствие! И не столько бить, сколько жалеть избитую, – это, знаете, ох как за сердце берёт! Лежит она эдакая обиженная, замученная, а я вспоминаю, как меня обижали да мучили в разное время, – плачет сердце. Ей-богу... плакал ведь я над ней, – что вы думаете? – как маленький плакал! Да. Ноги её глажу, бывало, целовать начну, утешаю всяко, даже прощенья просил сколько раз. "Ты, – говорю, – прости меня, ведь меня тоже мучили и били, и всё". Это она понимала умом, а сердцем, видно, не мирилась. И вижу – всё хуже да хуже задумывается, а глаза блестят эдак... Ничего не обнаруживает, а я понимаю, что стала она гордиться своей жизнью, то есть тем, что бью её и тревожу. Как мальчишка этот, – я её по щеке, а она мне в глаза смотрит. "Вот как? – думаю. – Ну, этим меня не одолеешь, я не хуже других... Эту игру я знаю!"

Пошмыгав носом, поморщась, Курнашов торопливо закончил:

– Однако заигрались мы с ней вплоть донельзя. Весною, в апреле, проснулся я, чуть солнышко взошло, утро весёлое, – а её нет рядом со мною. Сразу понял я, что это нехорошо, вскочил, бегу на чердак, а она висит, заслонив собой слуховое окно, и пальцами на ногах шевелит. Обомлел я, ни крикнуть, ни двинуться, стою и гляжу, как она крутится.

Он замолчал, вынул папиросу, дважды глухо кашлянул.

– Ну, и что же? – спросил я с трудом.

– Что же... конечно: признаю себя виновным...

Мне захотелось ударить его кулаком по маленькой узколобой головке, но его копчёное лицо было до такой степени искажено болью, так кричало, что мне снова показалось – вот сейчас этот человек безумно завоет, завизжит и покатится по земле, как собака, накормленная иголками.

Я отвернулся, а он грубо сказал:

– Вот и весь мой праздник... всё тут! Жил я с ней двадцать месяцев и девять дён. А после её – ещё дальше отшибло меня ото всего. Ну, вот...

Курнашов встал, оглянулся, как чужой, и пошёл к воротам, где серые фигуры

Несогласный. Максим Горький gorkiymaxim.ru
арестантов сбились в тесной куче.

Ночью, долго спустя после поверки, он неслышно очутился у двери моей камеры и спросил в глазок:

- Не спите?
- Нет.
- Чего же?
- Думаю.

Он пошаркал ногами и, невидимый мне, сказал в глазок, как в рупор:

- Вот вы всё внушаете - учиться надо, а чему у людей научишься? Не согласен я с вами, ни в чём не согласен...

Исчез.

Я долго слушал - не родится ли какой-нибудь звук, мне почему-то думалось, что сейчас хлопнет выстрел револьвера. Медленно тянулись минуты, тёмные и тихие, как монашенки. Потом я вспомнил слова Аристотеля:

"Кто не может жить в обществе, тот не составляет никакой части государства и есть или зверь, или бог".

Сквозь грязные стёкла окна трепетно-яркие звёзды кажутся тусклыми и круглыми, как фальшивые жемчужины. Я встал на подоконник и начал протирать стёкла рукавом рубахи.

1916 г.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!